

**Наталья  
Веселова**

**ТОЛЬКО  
нет  
зеленых  
чернил**

18+

Имена. Российская проза

Наталья Веселова

**Только нет зеленых чернил**

«Азбука»

2026

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Веселова Н. А.**

Только нет зеленых чернил / Н. А. Веселова — «Азбука»,  
2026 — (Имена. Российская проза)

ISBN 978-5-389-31835-9

В московской квартире двумя выстрелами в упор убита женщина. Многие могли желать ей зла, даже собственная дочь, которой мать последовательно и жестоко разрушала жизнь. А может быть, след злоумышленника тянется во времена ее молодости, в город Ленинград, где несколько старшеклассников организовали когда-то «тайное общество»? И как со всем этим связана полная страданий и приключений жизнь героической «дочери полка» во время Великой Отечественной войны – а ныне дряхлой старушки, чье сердце тоже, оказывается, умеет помнить, любить и ненавидеть? В романе переплетаются трагическая судьба девочки, чудом выжившей в блокадном Ленинграде, история девушек и юноши, решивших бороться с системой, и драма одной семьи: бабушки, матери и сына, полная боли, любви и ударов судьбы. В формате PDF А4 сохранён издательский дизайн.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-389-31835-9

© Веселова Н. А., 2026  
© Азбука, 2026

# Содержание

Пролог	6
Часть I	9
Глава 1	9
Глава 2	17
Конец ознакомительного фрагмента.	23

# Наталья Веселова

## Только нет зеленых чернил

*Посвящается памяти моего отца, Александра Веселова*

*Пепел Клааса стучит в мое сердце.  
Шарль де Костер*

*О, как мы любим лицемерить  
И забываем без труда  
То, что мы в детстве ближе к смерти,  
Чем в наши зрелые года.*

*Еще обиду тянет с блюда  
Невыспавшееся дитя,  
А мне уж не на кого дуться,  
И я один на всех путях.*

*Осип Мандельштам*

© Веселова Н., 2026

© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2026  
КоЛибри Fiction

## Пролог

### Девочка и лемниската

Четыре большие девочки (им лет по шестнадцать-семнадцать, но у какого давно взрослого человека повернется язык назвать этих едва подростки детей девушками, что подразумевает некоторую взрослость!) и один отчаянно изображающий мужественность вихрастый мальчик такого же возраста готовятся тянуть серьезный жребий. За трехстворчатым кухонным окном на седьмом этаже типового купчинского<sup>1</sup> дома бледно-серой стеной стоит унылое февральское небо, едва тронутое первым дыханием приближающегося вечера, – неусыпное радио «Маяк» только недавно приглушенно пропищало со стены четыре часа. Электричество еще не включали, зато тревожное пронзительно голубое пламя газовой конфорки, иногда ядовито подмигивая оранжевым, невозмутимо подрагивает на идеально белой плите. Все пятеро поминутно бросают на него исполненные непонятного ужаса взгляды – хотя странным сегодня на кухне кажется многое: зачем, например, хозяйка расстелила на столе свежее, только что из прачечной, вафельное полотенце, поставила открытый пузырек с йодом, стакан с раствором марганцовки, разрежала два пакетика стерильного бинта... На черном крыле плиты рядом с горящей конфоркой лежат внушительного вида плоскогубцы, и здесь же, в белой с алой розой на боку эмалированной миске, находится странная и весьма неуместная штука: прямоугольный параллелепипед тусклого олова размером примерно со спичечный коробок. Это на самом деле типографская литера большого кегля. Много лет назад, отчаянной первоклассницей, одна из девчонок повадилась лазить на животе под глухие железные ворота в неприветливой арке, принадлежавшей зданию серьезного, вероятно, предприятия. Под покровом дремучего питерского вечера девчушка умудрялась отыскивать на помойке в мрачном дворике, обнаруженном за воротами, замечательные цветные стеклянные шарики, бог весть отчего забракованные производителями, но для нее – бесценную валюту, способную оплатить практически любую разумную детскую мечту. И однажды среди шариков затесался металлический брусочек. Ни на что путное не сгодившись, он валялся в ящике детского секретера до самого выпускного класса – и только сегодня оказался совершенно необходимым для принесения скрепленной кровью присяги. На одной из двух меньших его граней можно видеть выпуклую цифру восемь. Но это восьмерка, только если смотреть на нее вертикально, а развернув на девяносто градусов, увидишь знак бесконечности. Он называется странным словом лемниската – не сразу и выговоришь, а уж запомнить... Но для того они все и собрались здесь сейчас, чтобы запомнить навсегда, в бесконечность унести сегодняшний полный общей безотрадности день начала февраля тысяча девятьсот восемьдесят третьего года, свою страшную клятву и знак лемнискаты...

– Ну все, хватит растягивать удовольствие, – говорит какая-то из них. – Быстрей начнем – быстрей закончим.

– Воду холодную надо заранее включить, – добавляет другая девочка. – А то еще растеяемся в нужный момент...

– Цифры написала? – с виду небрежно спрашивает мальчик. – Жертвую для святого дела собственную шапку. – И он протягивает новую серую кроличью ушанку.

– Кроля, кроля, кроленька... – ласково гладит ее третья заговорщица.

– Дура ты, что ли, совсем? – вспыхивает четвертая подружка. – Это сейчас-то! – И, обращаясь к мальчику: – Не годится ушанка твоя для такого дела – все бумажки будут видны у нее на дне. А надо, чтобы совсем вслепую. Никто не должен узнать какую-нибудь особенную... Нужна вязаная шапка, девичья... Да, да, вот такая! Ну что... Пора тащить... – С неосознанной

---

<sup>1</sup> Купчино – один из районов новостроек Ленинграда. (Здесь и далее – примечания автора.)

мукой она обводит глазами остальных, словно ищет кого-то, кто скажет: «Да что за ерунду мы тут затеяли! Неужели нельзя поверить друг другу без того, чтоб всем покалечиться! Как маленькие, честное слово!» – И тогда остальные с готовностью закивают, изобразят кривенькие ухмылочки...

– Ой, девушки, у меня что-то – того... живот... На нервной почве, наверное... – жалко улыбнувшись, шепчет одна девчонка и быстро топает в сторону уборной.

– Вот так выглядит медвежья болезнь! А вы и не знали? – слышит она позади молодой басок затесавшегося в их женское общество парня – и за ним следует преувеличенно громкий взрыв нервного смеха.

– Смейтесь-смейтесь! – шепчет девочка, задвигая за собой защелку. – Посмотрю я на вас через десять минут... А тебе, гаденыш, чтоб номер один вытянуть!

Она тихонько достает из кармана черного форменного передника плоский металлический футляр с плотно пригнанной крышкой. Он внутри сейчас стерильный – они с мамой сегодня утром кипятили его в кастрюльке вместе со шприцем и иглами почти час, а потом мама сама набрала полный шприц новокаина, сняла иглу и надела другую, осторожно положила готовый инструмент в эту вот коробочку и отдала дочери. «Я уверена, что ты не испугаешься, – сказала мама. – Это ведь не больней, чем прививка. И вообще, нужно уметь самой себе делать уколы – так, на всякий случай, мало ли что... А сегодня – даже не сомневайся. Представь себе, что ты, например, Штирлиц. А они все – разные там Барбары Крайн<sup>2</sup>. Собственно, они от нее недалеко и ушли. Так что не вздумай мучиться совестью – это они должны страдать из-за того, что изменяют Родине, а ты все правильно делаешь... А уж уколоться – вообще ерунда». Мама не знает, что две недели назад ее дочке уже несколько раз пришлось, извернувшись, вонзать стальную иглу себе в задницу: старшая сестра дуры-одноклассницы грамотно разъяснила, какие именно гормоны надо колоть при задержке, чем раньше, тем надежней, – да сама еще и купила в аптеке искомые ампулы... К счастью, подействовало, и еще как. Жаль только, что с невинностью распрощалась так глупо – на Новый год, в чужом доме, по пьяни: за такую по нынешнему времени редкость можно было бы от какого-нибудь не слишком дряхлого любителя срывать первые бутоны получить очень нехилые дары – и в моральном, и в денежном эквиваленте, а она просто взяла и профукала на ровном месте такой крупный оборотный капитал... Впрочем, может, так и лучше – это дает нешуточную свободу, она сразу почувствовала ее пряный вкус – еще тогда. Но теперь не об этом.

Девочка быстро закатывает рукав школьного шерстяного платья (его колючая жесткая ткань – вот что такое настоящее ежедневное мученье, а не смешные комариные укусы) и, стараясь не брякнуть железом, трижды ловко колет себя туда, где обычно ставят реакцию Манту, между локтем и пульсом, каждый раз впрыскивая под кожу треть от всего объема лекарства. Три легких укола на расстоянии сантиметра друг от друга. Потом она аккуратно прячет шприц в футляр, сует его в карман, расправляет рукав, громко спускает воду из бачка и торжественно выходит к остальным на кухню. «Теперь только б *мне* не вытянуть чертову единицу! – со страхом думает девочка. – А то ведь новокаин может так быстро не подействовать! Когда зуб лечила у этой маминой подружки, как ее там... четверть часа в коридоре сидела, пока десна заморозилась...»

Литера «8» уже саламандрой нежится в синем огне, огненная цифра постепенно словно наливается пунцовой кровью, смотреть на нее откровенно жутко. Пять сложенных во много раз тетрадных листочков с цифрами сыпают в шерстяную шапку, долго трясут ее со странным усердием, наконец, кладут на стол и нежно расправляют.

---

<sup>2</sup> Барбара Крайн, унтершарфюрер СС, смотритель и радист конспиративной квартиры гестапо в культовом телесериале 1970–1980-х годов «Семнадцать мгновений весны».

– Я первый... – солидно говорит парень, желая подать твердый мужской пример всему затаившему дыхание «цветнику».

Он трижды суетливо плюет через левое плечо, решительно просовывает руку в отверстие, вытягивает и сразу разворачивает свой жребий.

– Вот б... – почти вырывается у него. – Я и тут впереди планеты всей...

– Ты же так и хотел, – чуть презрительно пожимает плечами девочка, и у нее отлегают от сердца: теперь, пока эти курицы будут вокруг него бегать и кудахтать, место для будущей «бесконечной» метки уж точно онемееет достаточно.

Мальчик стискивает зубы, лицо его становится совсем пепельным от страха. На миг всем кажется, что он сейчас позорно сдрейфит, выскочит за дверь и убежит. Но нет – парень делает решительный шаг к плите, чуть дрожащей рукой берет плоскогубцы, секунду помедлив, выхватывает ими лемнискату из сердцевины огненного цветка, мгновенно прикладывает ее к предплечью выше запястья – раздаётся короткий вой, плоскогубцы и литера с грохотом и шипеньем падают в раковину, а мученик, какое-то время похватав ртом воздух, пунцовыми на фоне лица губами прерывисто произносит:

– Клянусь до последней капли крови... служить нашему святому делу... на благо великой Родины... Быть честным, смелым и преданным... Хранить тайну даже от самых близких... Выдержать любые испытания, но не изменить своему долгу... Но если вольно или невольно я выдам врагам... тайну общества лемин... ленми... «Лемниската»... то пусть товарищи мои покарают меня... так, как сочтут нужным... вплоть до смертной казни... Вот. Все. – И он со стоном сует руку с зияющей раной в форме знака бесконечности под струю ледяной воды.

Подруги кидаются к герою и начинают с жалостливым щебетом хлопотать вокруг него, позабыв на время о собственном грядущем испытании. И все они чуть позже благополучно проходят его, друг за другом вытянув каждая свою бумажку, – в целом примерно с той же реакцией и последствиями, как и у храброго первопроходца.

«А вдруг новокаин против такой нечеловеческой боли не подействует? – колотится у девочки смятенная мысль, когда она в свою очередь берет в трясущуюся руку плоскогубцы. – Это ведь не зуб сверлить...» – И она начинает на всякий случай орать: «У-у-у!» – уже за секунду до того, как раскаленный металл касается ее тонкой кожицы. Невыносимой жгучей боли нет – есть далекая и тупая, слабо ломящая, но крик заглушает и ее. Орудия пытки летят под кран, и предательница, изображая боль и потрясение, шепчет, глядя не на честных товарищей, а на свою изувеченную руку:

– Клянусь... не изменить... вплоть до смертной казни...

По крайней мере, теперь она в полном праве дома потребовать у матери купить ей дубленку. С вышивкой. А к выпускному – золотое колечко на безымянный палец. С изумрудиком. Последнее время она уверена, что у матери вполне хватит на это и денег, и возможностей. «Ты что, думаешь, на мои доходы мы ездили бы каждый год на курорты? Жили бы там в отдельных номерах, ни в чем себе не отказывая? Ели бы... ну хоть вот эту колбаску? И эту рыбку? А кофейком таким твои подружки тебя угощали? И джинсы “Монтана” ты бы носила? А сапожки финские? Сама подумай! Не маленькая уже – пора бы и понимать, что для такой жизни другой источник дохода нужен! Совсем другой...» Теперь девочка понимает. У нее тоже вроде как зарплата – пока вещичками, а там... Там она сумеет добиться гораздо большего, чем подачки, которые так благодарно на лету хватает мать. Но для этого надо сначала доказать свою профпригодность и верность делу. Настоящему большому Делу. Эти пусть воображают себе что хотят, а она точно знает, зачем пришла сюда, в мерзкий нищий дом, и получила первый пожизненный шрам на собственной молодой шкуре. Она стала сегодня бойцом, а настоящему бойцу не обойтись без шрамов.

Подружки делают ей бережную перевязку, утешают, обнимают, целуют...

Девочка тоже целует в ответ все подставленные мокрые от слез щеки.

## Часть I

### Глава 1

#### Привет от Джабари

*Разве мама любила такого,  
Желто-серого, полуседого  
И всезнающего, как змея?*

*Владислав Ходасевич*

Как раз в год его рождения, ранней бледно-золотой весной, на широкий экран вышли две первые части знаменитой экранизации «Войны и мира» – с особым, непредсказуемым результатом: спустя семь-восемь лет в каждом классе дети делились на три группы: Андреи, Наташи – и все остальные. В их первом «А» Андреев с ним вместе оказалось шестеро, а Наташ – восемь, и учителям ничего не оставалось, кроме как называть несчастных жертв культурного досуга родителей только по фамилии.

Это, конечно, мама удружила – мама, всю жизнь проискавшая своего собственного, личного Болконского и решившая обрести его хотя бы в сыне, раз уж с мужем не получилось. Андрей так никогда и не понял, как вообще его трепетная и утонченная мама могла выйти замуж за похожего на ломового коня отца – напыщенного образованца, упрямо, шаг за шагом выбравшегося из болота асоциальной семьи. В родительском гнезде, где отец Андрея когда-то увидел свет, весело проживала пара вполне счастливых и довольных друг другом супругов-алкоголиков, не обращающих вовсе никакого внимания на единственного сына, презрительно созерцавшего их беззаботное бытие, где уверенность в завтрашнем дне обеспечивалась двумя единными проездными билетами, в конце месяца неукоснительно приобретающимися с полочки. «Даже если последнюю монетку пропьем, раз карточки есть – наутро до работы доберемся», – назидательно провозглашал дедушка, а бабушка радостно кивала. Сын их, зарекшийся от любого спиртного с младенчества и на всю оставшуюся жизнь, поступил в профтехучилище, добился общежития, окончил курс по электромеханической части с красным дипломом – и был в приоритетном порядке принят в престижный политех, где на последнем курсе додумался вовремя вступить в партию, благо происхождение имел самое знатное – пролетарское, а убеждения – точно такие, какие положены были в каждый отдельный момент истории... Лет через десять после диплома – обидно синего, но этот неприятный факт ни на что существенно не повлиял, – сын допившихся до цирроза алкашей, которых давно и знать не желал, уже был обладателем служебной двухкомнатной квартиры в Купчине – от завода, где трудился старшим инженером, мужем худенькой миловидной женщины – конструктора из своего же цеха, отцом годовалого щекача Андрюшки, удивительным приспособленцем по жизни и отменной сволочью. Впрочем, последнее окончательно вскрылось лишь через семнадцать лет, – хотя жить с самовлюбленным идиотом маме и раньше, конечно, было несладко...

В общем, не Болконским оказался его покойный родитель и даже не Безуховым, а... Спустя еще сорок с лишним лет в зале ожидания питерского аэропорта Пулково, где из-за внезапного злого летнего циклона, по-разбойничьи напавшего на беззащитный город, на несколько часов задержали все рейсы, Андрей пожал плечами и в который раз задумался: какого бы показательного мерзавца откопать в русской литературе, чтоб походил на Артура Васильевича не-Болконского? Он поежился: почему именно пропойцы и по сей день так часто называют

детей Артурами, Эдуардами и Анжеликами? Во всяком случае, гнусное отчество по предателю он носить не собирался и в восемнадцать лет в сельсовете утонувшего в псковских лесах волостного центра получил новый паспорт, сменив высокопарного «Артуровича» на посконного «Ивановича». Иваном звали хорошего, честного человека, сельского учителя математики – второго мамино мужа, к которому совершенно не хотелось применять противное, жесткое слово «отчим». Это с ним вдвоем они поднимали и перестраивали их гнилую, косо оседающую на землю, как пьяная баба в полуобмороке, старинную деревянную избу; это он ежеутренне, вставая ради этого на два часа раньше, чем мог бы, возил пасынка – вот тоже словечко! – на своем выносливом песочного цвета четырехсот двенадцатом «москвичонке» в Псковский педагогический институт – чтобы парень мог спокойно жить и готовиться к занятиям дома да не одичал в казенном общежитии; это он принял сердечное участие в судьбе уже взрослого, по факту чужого парня, как будто не нуждавшегося в особом воспитании, и стал ему добрым другом и ненавязчивым советчиком – настоящим любящим папой, о каком многие ребята тайно и бесплодно все юношество мечтают... Иван Викторович тоже не относился к «болконской» породе – мог не пропустить маму в дверях или не догадаться подать ей, беспомощно оглядывающейся и поводящей плечами, пальто с вешалки, не рассуждал о глубине небес над местным злаковым полем, тоже успевшим дважды побывать полем битвы, когда сначала приходили, а потом убегали немцы, – хотя в одухотворенности любого трехсотлетнего дуба был убежден с детства, как и всякий крестьянский сын. Когда умирала мама, Иван самовольно – и выгнать его не сумел даже хамоватый главврач – поселился в районной больничке, много дней являя собой местную достопримечательность: одинокую, трагическую, прямую и угловатую фигуру, проводящую полубессонные ночи и тяжкие дни на увечной табуретке у кровати страдающей любимой женщины.

В те дни Андрей снова, как в юности, в годы дружбы с теми четырьмя умными девчонками (как всегда, при воспоминании о них он рефлекторно почесал белый шрамик-восьмерку на предплечье), получил повод убедиться в горечи от века положенной женщине доли. Все палаты в больнице стояли открытыми настежь, и, ежедневно навещая неотвратимо угасавшую маму, он мог разглядеть по дороге во всех мужских палатах, у изголовья каждого страдальческого одра, по одной напряженно и кротко застывшей женской фигуре, ревниво оберегающей покой больного, готовой взметнуться при малейшей надобности и броситься на помощь. В женских «лежачих» палатах никто не сидел с утра до ночи и ночь напролет. Женщин лишь периодически навещали по выходным, и то не часто и не всех. Им было – и всегда будет – предписано справляться самим: не хватало еще нянчиться с бабой, нагло посмевающей улизнуть из дома в больничку в самую колхозную страду, свалив огород и хозяйство на и без того «как конь пашущего» круглые сутки мужа. «Голова да живот – бабы отговорки» – это на Руси затверженная аксиома. Прооперированных и выписанных женщин и забирали из больницы на машине не каждый раз – доедут и на трясушем автобусе, не сахарные, не рассыплются.

Сидел у постели жены с начала – когда ее привезли из операционной с залитым слезами пугающе белым лицом – и до конца – когда последний свет жизни беспомощно выкатился из ее уже равнодушных глаз – лишь один муж из всего Пушкиногорского района: Иван Викторович, подлинный папа Андрея и мамин единственный настоящий муж.

Отчество по нему Андрей носил с неизменной гордостью.

«Нет, надо было “Сапаном” в Москву ехать, его хотя бы не задерживают... Наверное...»

За его спиной уже несколько минут раздавался визгливый и протяжный женский голос, обладательница которого задержкой рейса была, кажется, даже довольна: это давало ей возможность без помех сообщить всем желающим и нежелающим в радиусе двух метров, какие «непередаваемо ужасные» десять дней они с дочерью только что провели в каком-то дрянном отеле курортного Египта. Их заселили в отвратительный номер... Она терпеть не может занос-

чивую службу... Лично она привыкла к большому разнообразию в еде... И посуда на столе какая-то непрезентабельная... Скатерть странная...

У Андрея, приговоренного к прослушиванию драматического монолога (в битком набитом возмущенными гражданами зале попытаться переменить место означало, скорее всего, лишиться его вовсе), создавалось впечатление чего-то очень знакомого и неприятного: определенно, женщина обращалась не столько к смиренной, молчаливой дочке, сколько к воображаемому зрительному залу, уверенно чувствуя себя залюбленной публикой примой. Несчастливая дама так усиленно пыталась донести до окружающих свою принадлежность к неведомому «высшему обществу», что хорошенько стукнутому судьбой еще в ранней молодости Андрею, например, было совершенно ясно, что говорившая – человек не просто очень бедный, а и в целом основательно ущемленный жизнью, – но случайно вырвавшийся, как ему кажется, на вольный простор. Андрей осторожно повернул голову и немедленно убедился в своей правоте: ряды кресел стояли спинками друг к другу, и перед его глазами сразу оказалось великолепное женское ухо, у которого и мочка, и чуть не вся раковина были утыканы крупными стекляшками а-ля бриллианты, а красноватая трудовая рука, постоянно заправлявшая за него прядь жестких посеченных волос, имела столь длинные и острые, переливающиеся стразами огненные когти, что социальная принадлежность леди не оставляла никаких сомнений.

– Ты заметила, как плохо вышколена у них прислуга?! – как раз оскорбленно провозгласила та.

Таким же был и его отец – не настоящий, а который осеменитель. Тот, по советским меркам успешный человек, тоже так никогда и не поверил до конца, что ему посчастливилось выскочить из сословия самого низкого и презренного – даже в обстановке всеобщей равной бедности и униженности. Ему было присуще постоянное желание выставить напоказ свое мнимое высокое положение, но, имея натуру исключительно подлую, он не умел сделать это никак иначе, чем унизив кого-то, мимолетно зависимого. Сердце сжалось от противного, как запах тухлятины, воспоминания.

Это был мамин день рождения, который решили скромно отпраздновать в знаменитой «Чебуречной на Майорова»<sup>3</sup>, где только что обновили былой унылый интерьер и вместо огромного гомонящего зала с длинными желтыми полированными столами и алыми коленкоровыми стульями устроили двухуровневое, украшенное этнической чеканкой и дивными бронзовыми светильниками комфортное пространство. Чтобы попасть туда, нужно было часа два-три отстоять в длинной понурой очереди – сначала на морозе вдоль узкого проспекта Майорова<sup>4</sup>, потом в холле и на двух маршах лестницы, ведущей до дверей зала, куда пускали партиями по мере освобождения столиков. И мечтать было нечего оказаться за столом в уютной компании своих – даже влюбленные парочки подсаживали к чужим людям на свободные места. А им, замерзшим и истомившимся от ожидания, вдруг неслыханно повезло: родителям и стеснительному пятнадцатилетнему подростку достался четырехместный столик на возвышении, у деревянных перил, и нарушить семейственность теоретически мог только чужак-одиночка, но практически его в тех обстоятельствах и представить себе было невозможно. Отец горделиво нес, как всегда, брезгливо-капризную мину, мама нерешительно улыбалась, Андрюша с нетерпением ждал заказанные чебуреки: золотисто-воздушные, они то и дело пролетали мимо высоко на подносах, как наполненные ветром паруса невиданных бригантин. Наконец усталая немолодая официантка принялась без улыбки торопливо раскладывать на их столе приборы. Мама одобрительно улыбнулась ей с понимающей благодарностью, но отец, донельзя выпятив нижнюю губу, важно взял нож и вилку, поднес к глазам – и тотчас шикарным жестом швырнул

---

<sup>3</sup> Культовое заведение общественного питания Ленинграда – Петербурга, существующее с начала 1960-х годов: в советский период – популярная чебуречная, ныне – знаменитый ресторан «Салхино».

<sup>4</sup> Ныне – Вознесенский проспект.

то и другое через плечо. «Грязные приборы подаешь, любезная», – хладнокровно произнес он. Мама вздрогнула и во все глаза изумленно уставилась на мужа, Андрюша почувствовал, что неумолимо пунцовеет: он мгновенно вспомнил, как уже видел такое в старом фильме «Дама с собачкой», где богатый знакомый Баталова—Гурова точно так же изгалялся над бессловесным официантом в дорогом ресторане. Картину они когда-то посмотрели втроем, и вот выходило, что из всех разноплановых персонажей для отца примером подражания оказался именно этот наимерзейший тип! Их официантка тоже не произнесла ни слова и через минуту положила перед отцом новые сверкающе чистые приборы – но и они не устроили придиричивого клиента. С отвращением глянув, он поступил с ними точно так же, сопроводив свой поступок громогласной фразой, обращенной к жене и сыну: «Ничего, подберет как миленькая. Почувствуйте, дорогие мои, разницу между человеком и холуем!» Эту разницу он и сам вполне ощутил очень скоро. Убежавшая официантка вернулась не одна, а с внушительного размера метрдотелем, который не снизошел до выяснения причин недовольства какого-то мелкого очкарика-скандалиста. «Прошу немедленно покинуть помещение, – солидным басом приказал он. – У нас предприятие советского общепита, и оскорблять работников запрещено». «Какие там люди! – взъерепенился отец. – Обычные подавальщицы! Пусть сначала научатся подавать чистые вилки, а потом уже...» «Вы сами уйдете или мне вызвать швейцара и дружинников?» – вкрадчиво поинтересовался метрдотель. А шкафоподобный вышибала, невесть кем призванный на подмогу, уже сверкал в дверях черной с золотом ливреей... Смаргивая неудержимые слезы, мама слепо бросилась вон в сопровождении потрясенного сына, и отец, пытаясь не уронить достоинство, устремился якобы догонять их: «Анна, постой, куда ты помчалась!» – а на самом деле, конечно же, просто уносил подобру-поздорову ноги... На темной улице под мохнатым январским снегопадом рассуждать о поисках другого места для семейного праздника после случившегося уже не приходилось, день рождения классически накрылся медным тазом, и всю дорогу домой, где в холодильнике осталась только картошка в мундире (сосиски вчера кончились в магазине прямо перед разочарованной мамой), отец рассуждал на весь автобус о «невыносимом хамстве обслуживающего персонала, которому еще учиться и учиться профессиональному соответствию»...

– И ты обратила внимание, дочка, как *дурно*, – соседка сзади, очевидно, специально выискала это «великосветское» словечко и теперь с удовольствием употребила его, – обслуживали в ресторане? Этот бестолковый официант, прикрепленный к нашему столу... Противный, с масляными глазками, наверняка вор...

Десятилетия бегут и бегут, а люди не меняются.

– Мама, ну зачем ты так! – впервые зазвенел вдруг позади тонюсенький девичий голосок. – Почему сразу вор?.. И совсем он не противный... Они там, знаешь, как тяжело работают? С утра до ночи на ногах... Принеси, расставь, убери... Улыбайся вежливо, даже если тебе плохо... Этот Джабари – помнишь, имя на бейджике написано, – он хороший, старается! Такой услужливый, всегда подскажет...

На беду свою, Андрей родился на свет ярко выраженным эмпатом, вечно корчившимся то от испанского стыда, то от ощущения, что подглядывает в замочную скважину. И на этот раз он неисповедимыми путями уловил в девчоночьем голосе некие *те самые ноты* – крайнего неравнодушия.

– Люся, не говори глупостей. Давно известно, что они там все воры, бездельники и прохиндеи, – отрезала ее мать, которой, разумеется, оттенки всяких там незапланированных чувств были недоступны по определению.

Но Андрей уже безоговорочно понял, что Люся имеет очень веские личные причины выгораживать этого неведомого Джабари, по интонациям было совершенно ясно, что девочке приятно просто говорить о нем, – и в то же время со дна ее души то и дело поднимается пока еще контролируемое, но явно готовое вскоре выплеснуться и затопить сердце неуправляемое

– настоящее – горе. Андрей невольно напрягся и наострил уши. Девочка, раз позволив себе упомянуть это имя, теперь не могла остановиться и горько смаковала его на языке:

– Нет, нет, мама! Это мы там отдыхали, а Джабари ведь трудился! Мы из моря не вылезали, потом объедались чем хотели, а он даже ни разу не искупался – некогда! У него такая тяжелая работа – без выходных почти! И платят копейки! А живут они все по двое и по трое в маленьких тесных комнатках, даже не поспать нормально, вечно все галдят, а Джабари затемно уже бежать в ресторан... Зачем ты говоришь о людях плохо, когда ничего не знаешь...

«А она-то откуда знает? – тихонько содрогнулся Андрей. – А от верблюда. Местного. Побывала в той комнатке – тут и к бабке не ходи... Интересно только, что эта сволочь с ребенком там сделала... Впрочем, и гадать нечего... А что? Если ей есть шестнадцать – хотя она и накинуть себе годик запросто могла – то он был полностью в своем праве, что по их законам, что по нашим... Неужели и с последствиями? Но мамаша-то, дура крошечная, вообще не в теме – ишь, как соловьем заливается...»

– А в номере мне белье особенно не понравилось, явно не шелковое, – как ни в чем не бывало рассказывала обреченным слушателям яркая дама. – И ты заметила, что у геля для душа запах какой-то дешевый? Никакими духами было его не перебить... И горничная грязная и нерадивая – а еще, конечно, на хорошие чаевые рассчитывала...

– Мама! – в тихом голосе девочки прозвучало уже настоящее отчаяние. – А вот мне там очень понравилось! Давай еще раз туда слетаем – в то же место, в тот же отель... А что? Я могу начать подрабатывать... Подкопим денег – и слетаем следующим летом... Нет, даже зимой! И номер возьмем получше! Летают же люди зимой отдыхать! И мы сможем. На зимние каникулы. Давай, мама, а?

Андрей попытался представить себе их обеих: беленький взъерошенный воробушек-девочка и старательно вальяжная, простая, вульгарная тетка. В деталях не получилось.

– Чтоб я еще раз в жизни оказалась в этом или подобном сарае? – в нос сказала мамаша (вероятно, и глаза картинно закатила). – Все – зарекаюсь. Зарекаюсь брать отели ниже пяти звезд. Это был обман – самый настоящий... Наобещали золотые горы...

Он хотел усмехнуться, но не смог – с такой неподдельной тоской и холодным ужасом прозвучал шепот бедной девчушки:

– И что, выходит... выходит... я никогда не увижу... Получается, я утром последний раз видела... отель... и море... – едва выдохнула она.

Да плевать ей было и на отель, и тем более на Красное море тысячу раз. Андрей почти физически почувствовал, как под ногами девочки в этот момент разверзлась мутная бездна невыносимой утраты – первой жизненной утраты, о которой даже матери родной не расскажешь. А расскажешь – себе дороже выйдет.

– Увидишь, когда в нормальное место полетим, – громко пообещала мать. – И уж конечно, не в эту дыру.

Но дыру позади себя ощущал сейчас именно Андрей – прямо за своей спиной, где раньше говорила, а теперь замолчала девочка. Оттуда отчетливо веяло каменным холодом, вдобавок он ощутил словно нависшую над плечами насмешливую темноту. В десяти сантиметрах от его чувствительного затылка разворачивалась очередная нешуточная трагедия – и ровно ничего нельзя было сделать, чтобы помешать ей. Прошло несколько минут, когда он сидел с колотящимся сердцем и по давней традиции убеждал себя, что мелкие печальки глупой влюбленной девчонки и ее еще большей, неизлечимой во веки веков дурищи-матери не могут и не должны его касаться, но что-то неправильно – или, наоборот, единственно верно! – настроенное внутри уже больше полувека не позволяло заткнуть внутренний слух – или даже видимо для всех вставить белые запятые наушников и отгородиться от мира – ну, скажем, с помощью Морриконе. Андрей продолжал напряженно ловить в гудящем неразборчивыми звуками эфире единственную, невесть зачем нужную сейчас волну погибающей девочки Люси. И он услышал

шорох – она вставала. Выдавила: «Я в туалет...» – и тьма немедленно стала отдаляться – Люся уносила ее с собой. Андрей не таясь обернулся и успел ухватить взглядом в толпе совсем не такую девочку, какую успел себе представить, а пухленькую шатенку с умильным хвостиком, в китайских шортиках, пластмассовых тапочках и с алым тряпичным рюкзачком за спиной, быстро семенящую в сторону женской уборной. Мать ее как раз угомонилась и принялась истоиво когтить экран своего увешанного пестрыми брелочками смартфона.

Медлить было нельзя – каждая минута грозила непоправимым. Андрей вскочил и нырнул в толпу, не упуская из виду красное пятно впереди и прикидывая на ходу, может ли верзила в джинсах, футболке навывпуск и надвинутой кепке, с бурно седеющими, но пока густыми и волнистыми волосами сойти за высокую молодящуюся бабульку. Обреченно понял – нет: примут за очередного Пулковского маньяка и вызовут полицию. «Нет, нас, эмпагов, надо в младенчестве душить подушкой, – подумал Андрей. – Ну вот для чего я сейчас рискую повернуть не в ту степь русло матери-истории?» (Это он весьма кстати вспомнил врезавшийся в память рассказ о двух ученых – путешественниках во времени, заблудившихся в шестнадцатом веке и случайно вылечивших простую деревенскую девушку Жанну Д'Арк от тяжелого психоза с галлюцинациями еще до того, как она отправилась спасать Францию<sup>5</sup>.) Но дверь с фигуркой в платье в виде треугольника эволюции была уже перед ним, и ничего не оставалось, кроме как дернуть ее и войти.

Некто еще меньше похожий на женщину, чем он сам, флегматично домывал руки и не глянул на незаконного пришельца даже в зеркало. Андрей живо осмотрел возможное поле боя – и немедленно увидел под одной из коротких дверок две аккуратные ножки в безобразных розовых галошах без пятки: они стояли так тесно, что стало понятно: их владелица сидит на крышке унитаза. И – о, радость! – соседняя кабинка оказалась пустой. Туда он, втянув голову в плечи, сразу же воровато и проскочил. Задвинул хилую защелку, опустил ненадежную белую крышку, уселся, почувствовал себя в относительной безопасности и устремил слух за перегородку, где вдруг ясно услышал однозначно знакомые, но не сразу опознанные металлические звуки. А когда узнал их – сердце захолонуло: точно так же брякали хитрые инструменты из дорожного маникюрного набора покойницы-жены, и были там, совершенно точно, среди всего прочего и преострые ножницы с загнутыми концами...

– Люся! – испуганно крикнул он, и звяканье разом прекратилось. – Ну, наконец-то я тебя догнал!

В соседней кабинке воцарилось озадаченное молчание. Андрей слишком долго жил на этом свете, чтобы теперь не догадаться, о чем следует говорить дальше:

– Джабари просил найти тебя в Петербурге во время пересадки и передать, что он тебя любит и ждет...

За стенкой послышался потрясенно-радостный вскрик – и девочка, вероятно, на время потеряла дар речи. Собственно, можно было уходить: теперь она уже гарантированно не пустит в действие маникюрные ножницы или что там у нее еще есть, совесть его чиста, а внутренний эмпат заслужил пирожок с капусткой – ну, в пересчете на пол и возраст – пятьдесят коньячку. Но он был не просто эмпат, а с элементами перфекционизма, поэтому следовало аккуратно и каллиграфически расставить все точки над «ё». А также, по возможности, каморы, придыхания и титлы<sup>6</sup>...

– Эй, ты слышишь меня? – сколь возможно мягко спросил Андрей. – Я ведь не ошибся, ты – Люся?

– Д-да... – донесся приглушенный, словно ночной, голосок. – А вы к-кто... Откуда в-вы...

---

<sup>5</sup> Ю. Нестеренко, «Клятва Гиппократата».

<sup>6</sup> Надстрочные знаки в старославянском языке.

– Ну вот, а я... – из всех возможных восточных имен выскочило только одно, хорошо хоть его вспомнил: – Фадиль. Знакомый Джабари. Он, когда узнал, что я лечу через Петербург, сказал, что у него возлюбленная тоже там делает пересадку. Ну и сказал, чтоб я тебе о нем напомнил в пути... Показал мне твою фотографию в телефоне. И только я тебя увидел, как ты вдруг вскочила и побежала. Чуть не упустил...

Она бы сейчас и без того поверила какой угодно ненаучной фантастике, но вдруг, как это часто случается, произошло крошечное бытовое чудо:

– Ой! А он мне о вас рассказывал! Вы в центральном корпусе работаете! Который для богатых! – восторженно крикнула девчужка. – Как хорошо вы по-русски говорите... Джабари так не умел... Не умеет... А я по-английски... не очень...

«Шустрая, однако, скотина этот Джабари, – жестко подумал Андрей. – К его услугам наверняка было полно озабоченных возрастных потаскух. А он ухитрился, едва мыча по-русски, совратить свеженькую наивную девочку, вряд ли умеющую сказать по-английски что-то, кроме “хай” и “бай”...» Стало муторно, пора было идти восвояси, пока кто-нибудь бдительный не заинтересовался, почему из одной кабинки в женском туалете звучит густой баритон. Спросил на всякий случай:

– У тебя все в порядке? Что ему передать, когда я вернусь?

– Да! Да! Передайте, что я еще в самолете поняла, что... что... Ну, в общем, все началось... Он поймет... – застенчиво шепнула маленькая конспираторша.

«Угу. А то я не понимаю, – угрюмо подумал Андрей. – Но и за то слава Богу. А то ведь спустя время мог начаться второй раунд – и тут бы уже ничто не помогло».

– Фадиль... А вы не знаете... – робко продолжала Люся. – Не знаете, почему я пишу ему, пишу, а ничего не отправляется... И фоточки не уходят?... Надпись выскакивает: «Вы не можете отправлять сообщения этому абоненту»... И так много раз...

«Потому что этот подонки тебя уже заблокировал».

– А-а... а дело в том, что его в Каир срочно вызвали... Мама заболела... Может даже умереть... Там у него телефон другой... А этот будет выключен пока... Когда вернется, включит и сразу напишет тебе, – скороговоркой пробормотал Андрей: так отвратительно врать, хоть и во спасение, было не в его привычках; ну ничего, зато на ближайшие полгода девочке обеспечен смысл жизни – потом начнется подготовка к экзаменам; а потом... – Ты ведь в одиннадцатый перешла? Или в колледже учишься?

– Да, в одиннадцатый, – вздохнула Люся. – У нас такие колледжи в Волковойске, что уж лучше школа...

– Где-е?! – невольно ахнул Андрей.

Путешественница слегка усмехнулась:

– Все так реагируют... Но наш город действительно так называется... И – нет, там волки не воют. А то все спрашивают... У нас даже одна церковь есть, которую строил тот же архитектор, что и какой-то собор в Петербурге... И мостовая – конца восемнадцатого века, между прочим. Мы, значит, сейчас пересядем на Псков, оттуда на большом автобусе еще шесть часов ехать, а потом на маленьком два... Он нас у поворота высадит. Там вообще-то тоже маршрутка ходит утром и вечером, но мы с мамой на нее не успеваем. Придется пешком, если никто не подбросит. Четыре километра с чем-то... Хорошо хоть чемоданы на колесиках...

«Ну что ж... Я в такое примерно место попал в ее возрасте прямоком из Ленинграда, поэтому и оторопел поначалу. А она там родилась и выросла, ей привычно... Волковойск. Сильно! Я, пожалуй, напрасно так презирал ее мамашу...»

– А мама у тебя чем занимается по жизни? – теперь Андрея это живо интересовало.

– Ой, чем у нас заниматься... – по-взрослому вздохнула Люся. – Она заказы выдает на пункте... А эта путевка нам бесплатно досталась, мы раньше никуда дальше Пскова не выбирались, папы-то нет у меня, мама одна крутится, да еще бабка почти, можно сказать, лежащая.

Хоть не в нашем доме, а в своем – и на том спасибо. А путевка эта нам бесплатно досталась. Честное слово! Мама ее выиграла в Интернете – розыгрыш какой-то был, рекламный, и ей повезло. Мы так радовались! Только вот отель... действительно... Комната темная и узкая, как вагон... На последнем этаже и с окнами на помойку... А окна вечером не закроешь, потому что без кондиционера! Представляете, какая вонь... Мы иногда до ночи на пляже сидели, чтобы хоть не так жарко... Только спать туда заходили, и то все липкие лежали... А душ и туалет – в конце коридора. С побитым кафелем... И еще нам браслеты выдали – такие белые... Там у всех разноцветные браслеты, у кого какой номер... Ну, какого класса. И с нашими в бассейн не пускали. И вообще никуда, даже в бар. Меня только Джабари однажды тайком провел... А еще он говорил, что нас кормили в последнюю очередь, потому что перекладывали объедки от предыдущих смен на чистые тарелки... Он меня очень жалел, говорил, что эти «белые» номера для того и придуманы, чтоб добро не пропадало... Это ведь бизнес... Управляющий так им, ну, служащим... и говорил – нищие все сожрут, не выбрасывать же. И номер у нас не убрали ни разу, а белье совсем... Кажется, его не меняли и перед нами, и после нас не сменяют... Джабари сказал: капитализм, что ты хочешь... Ну или как-то так сказал, я не совсем поняла... Но это все ничего – главное, я *ego* встретила. И море увидела... Больше ведь никогда... Теперь и умереть не жалко.

Потрясенный до глубины души, Андрей с минуту молчал. «Хреновый из меня эмпат», – колотилась в голове мысль, словно птенец клювиком разбивал изнутри яйцо. Наконец произнес – неожиданно севшим, как от холодного пива на морозе, голосом:

– Обязательно увидишь. Море – точно увидишь. Не такая уж это редкая вещь, чтоб не увидеть... Их полно у нас, морей этих, выбирай любое. Только ты уж, пожалуйста, выберись из этого вашего...

– ...Волковойска, – твердо закончила девочка. – Нет. Из него не выберешься. – Она тоже помолчала немножко. – Так вы передайте Джабари, что я буду ждать и...

– Так вот ты где прохлаждаешься! Расселась тут! – раздался в этот миг снаружи уже знакомый подвывающий голос ее матери, тоже опознавшей дочь по розовым тапочкам. – Наш рейс только что объявили! Не хватало только застрять по твоей милости в этом захолустье! – Прима определенно никак не могла выйти из образа, только Андрею было уже совсем не смешно.

– Мама... иду... сейчас... я уже все... – засуетилась застигнутая врасплох Люся.

Зашуршало, зазвякало, затопало. И стихло. Он так и не увидел ее лица. Какого цвета у нее глаза? Впрочем, кажется, еще не поздно догнать, обогнуть, заглянуть инкогнито. Положить в заветную копилку... Но зачем, собственно? Уже ведь никуда из Вечности не денется.

«Как мило. Я, кажется, только что спас одну женщину, хотя вполне допускаю, что скоро убью другую».

## Глава 2

### Наша маленькая горбунья

*И так как с малых детских лет  
Я ранен женской долей,  
И след поэта – только след  
Ее путей, не боле...*

*Борис Пастернак*

Говорят, когда умирают самые близкие, то у нормальных, хороших людей все плохое сразу стирается из памяти – во всяком случае, блекнет, как пасмурный вечер, и смущенно удаляется на задворки подсознания. Но Стасю, наверное, можно было смело назвать плохим человеком. Вот только представьте на минутку нечто запредельное: вам в кои-то веки показалось, что вы вырвались на дачу подруги в звонком сосновом бору – из сизого марева летнего Петербурга (он красив в эту пору лишь для насмотревшихся рекламных буклетов гостей, а на самом деле сам на себя не похож) – и будете читать, рисовать, собирать боровики и пить красное вино целых полтора месяца. Вдруг вам звонит подчеркнуто официальный мужской голос, который вы привычно принимаете за мошеннический – но нет, до такого даже мошенники еще, кажется, не доходили. Посторонний мужчина, отвлекаясь на кого-то докучливого («На стол мне положи, я посмотрю потом...»), с равнодушной безжалостностью сообщает вам чудовищное известие, не лезущее вообще ни в какие ворота: вашу родную мать, которая еще и шестидесятилетний юбилей не собиралась праздновать, кто-то застрелил из парабеллума (почему она так хорошо знает это слово? – ах, да, ну конечно же: «Придется отстреливаться... Я дам вам парабеллум<sup>7</sup>») в ее собственной московской квартире на какой-то там Парковой улице. Что с вами произойдет? Лучше и не представляйте... Стася и вообразить не умела, что могло и должно было случиться с ней в эту минуту, будь она хорошей дочерью. Но после короткой паузы, прошедшей в успешной борьбе с очень достоверным ощущением попадания в зазеркалье, она вполне буднично спросила этого неизвестного мужчину: «Когда?» В его голосе послышалось некоторое облегчение – вполне понятное, ведь любящие дочурки от такого известия плачут, кричат или молчат, потому что теряют сознание, а вовсе не задают вопросы по существу. Оперуполномоченный Как-Его-Там ответил, что еще не знает, потому что на судмедэкспертизу очередь (Стася мгновенно представила ее: сидят и стоят в длинном темном коридоре смиренные, иссиня-зеленые люди, очень похожие на живых, и ждут, пока их вскроют вон за той стеклянной дверью, – и среди них ее мама в каком-нибудь уголке; «Нет, я все-таки сволочь»), но точно все равно никто теперь не скажет, потому что на жаре тело пролежало несколько дней – соседи вызвали полицию, как водится, «на запах» с открытого балкона. «Конечно, приеду», – в свою очередь по-деловому ответила Стася уже на его быстрый вопрос. Впереди была изматывающая дорога, многочасовые допросы в качестве подозреваемой, главной и пока единственной, в одном из московских типовых убийных отделов и самое страшное – опознание. И когда это исполненное ледяной жути слово неизбежно сверкнуло в мозгу, то сердце все-таки дернулось, застыло, потом сорвалось – и понеслось, спотыкаясь, куда-то вниз, вниз, в кромешную тьму...

Мама, сорок лет назад по неведомым соображениям давшая дочери редкое имя Станислава, обеспечила ей в положенное время самое необходимое – жизнь, кров, еду, тепло и образование – кроме насущного: любви. Все у мамы случилось настолько заурядно, что ей,

---

<sup>7</sup> И. Ильф, Е. Петров, «Двенадцать стульев».

наверно, было даже обидно стать жертвой такой почти неприличной банальности. Бурный – и дичайший! – роман с одноклассником сразу на первом курсе иняза, быстрая нежелательная беременность с нервным ожиданием недалекого совершеннолетия, чтобы можно было беспрепятственно сделать аборт, внезапный припадок благородства у безусого недоотца с предложением руки и сердца (благим намерениям его, чтобы разом и без следа вылететь, хватило и пары искровысекательных оплеух, отвешенных собственным разгневанным родителем)... Но за несколько недель незамутненной романтики все сроки, отведенные на то, чтоб прикончить Стасю в соответствии с законом, незаметно миновали. Из роддома маму с младенцем на руках встречали только бабушка и таксист, принятый нянькой за молодого папашу и немедленно припертый к стенке с требованием обязательной «трешки». Да, да, ущемление женщины в этом мире начинается задолго до ее первых самостоятельных шагов: за пеленание мальчика и повязку голубого банта на одеяльце перед выдачей родным по твердой таксе московских роддомов брали пять рублей, как за нечто более ценное, чем девочка в розовых лентах, – за нее просили только три... Таксист оказался хорошим парнем – хоть замуж за него выходи: няньку нежно расцеловал и лично сунул ей в декольте зеленую бумажку, подмигнув мнимой теще, с которой потом ничтоже сумняшеся содрал за представление вдвое больше.

Малышка Стася невольно подрубила жизнь другого ребенка – собственной восемнадцатилетней мамы, так и не успевшей вдохнуть ландышевый аромат беззаботной молодости. Только в институте, вместо легкой учебы среди веселых студенческих эскапад, она наматывала кишки на кулак целых семь муторных лет, а не положенных пять, и выстрадала диплом, чуть не кровавыми слезами его облив, только благодаря настойчивости собственной матери, взявшейся и сидеть с внучкой, и содержать обеих девочек, большую и маленькую. Не мудрено, что первая всю оставшуюся жизнь испытывала ко второй нечто вроде ревнивой неприязни и мстила ей некрасиво и истерично – как женщина женщине. Она получила воспитание в том духе, что, раз уж волею сорванца-случая родила себе ненужного ребенка, то, стало быть, обязана исполнить материнский долг как положено. На такое она вынужденно согласилась, но уж сердце прилагать, считала юная мать, – это извините. Не для того оно в молодости согревает тугую грудь изнутри, чтобы таять от вида розовой попки... Стасина вездесущая бабушка, судя по всему, имела странные и запутанные, но работавшие при любой власти связи чуть ли не во всех областях человеческого бытия. До ранней смерти от хитрого, незаметного рака, долго проявлявшегося только в виде болезненной худобы и вечной усталости, она успела сделать для незадачливой дочери последнее огромное благое дело: в начале девяностых, когда Третий Рим являл собой фантасмагорическое зрелище – вроде Первого непосредственно перед приходом Алариха<sup>8</sup>, – она устроила ее в издательство переводчиком с английских дамских дешевых «романов на одну ночь». Шли годы, расширялся, взрывался, поглощался, впадал в упадок и вновь расцветал на руинах неубиваемый издательский бизнес, – а Стасину маму, крепкую, работоспособную и обязательную, поднаторевшую в своем вечно востребованном деле, издатели аккуратно передавали из рук в руки, как добрые люди передают над головами потерявшегося на первомайской демонстрации не успевшего испугаться ребенка с флажком в руках в сторону уже раскрывшего объятья подвыпившего папы.

Именно благодаря последнему бабушкиному благодению Стася и выросла у мамы внешне благополучно: более или менее здоровая и сытая, прилично одетая, чему-то относительно нужному обученная и абсолютно несчастная, – но в этом последнем бабушкиной вины как раз и не было. Наоборот, она преподнесла и внучке один бесценный посмертный подарок, о котором та, правда, стараниями собственной матери случайно узнала, лишь разменяв четвертый десяток...

<sup>8</sup> В 410 году нашей эры Рим был взят и разграблен Аларихом, вождем вестготов.

Но до того дня можно было и не дожить, учитывая, с каким трудом давалось в руки девочке само капризное вещество жизни бок о бок с до поры до времени инстинктивно любимой, но ни минуты не любившей матерью. Первый осознанный и запечатлевшийся в памяти звоночек прозвенел в подготовительной группе детского садика (бабуля уже серьезно болела тогда, да и к школе следовало основательно подготовиться – вот и отдали Стасю на год в казенный дом). Довольно быстро она подружилась там с такой же новенькой девочкой Лизой, тоже испуганной и домашней, вдобавок ко всему – мулаткой, хотя и исключительной красавицей. И папа, что удивительно, у нее имелся в наличии: радикально черного цвета огромный добрый человек. Именно он всегда заходил за дочкой – и они вдвоем весело удалялись по белому снегу, – а высокая голубоглазая мама лишь приводила ее по утрам, всегда оставляя за собой в раздевалке крепкий и нежный розовый запах, который держался до самого обеда и особенно чувствовался, когда дети возвращались с прогулки. Но весной Лиза внезапно раздружилась со Стасей. Сама. Не ссорясь и ничего не объясняя. Просто однажды вдруг вошла утром в группу и не побежала радостно к подружке в «их» уютный уголок «около рыбок», как полгода бегала, а сразу, не глядя по сторонам, направилась к столику с конструктором, где собрались совсем чужие дети... И вот она уже с ними бойко болтает и даже фыркает над чем-то, а Стася стоит рядом с заросшим скользкими джунглями аквариумом как оплеванная. И до самого выпуска Лиза больше ни разу к ней не подошла, а при попытках прояснить недоразумение досадливо махала кофейного цвета лапкой: «Отстань!» Собственно, Стася так никогда и не поняла, чем была вызвана такая странная и быстрая метаморфоза, – во взрослой жизни мелькала даже мысль разыскать в соцсетях взрослую Елизавету Камаи и выяснить причину своего первого детского несчастья, застрявшего в душе, как мелкий осколок стекла в зажившей ранке.

Но тогда, в шесть лет от роду, со своим первым неподдельным горем девочка, конечно же, прибежала к мамуле!

– Ага, раскусила тебя Лиза наконец, – с хладнокровным злорадством сказала мать. – Поделом тебе.

Поскольку в этом возрасте у детей мама обычно еще самая добрая, красивая и никогда не ошибается, дочка закономерно обвинила во всем себя: маме виднее, она знает о Стасе что-то очень нехорошее, просто ужасное, чего та и сама в себе не подозревает, но все другие люди тоже это видят – вот и разбегаются от такой плохой девочки в разные стороны. В этой уверенности Станислава прожила ближайшие четверть века, постоянно маниакально разыскивая и находя в себе все новые и новые роковые недостатки. Мама с готовностью помогала ей: «Ну вот, докрутилась своими кривыми ручонками!» – когда кран в ванной вдруг перестал закрываться; «Хватит уже малевать всякую ерунду!» – когда прибежала с новым удачным рисунком, где мама стоит в поле с букетом ромашек; «Ой, помолчи уж лучше – ни разу ничего путного не сказала!» – когда попыталась рассказать, почему понравился фильм про большую белую с рыжим собаку... В будущем тоже ничего хорошего не предвиделось: «Зачем тебе школа искусств, только деньги зря тратить – все равно станешь не пойми кем»; «Да кто тебя замуж возьмет – с тобой все ясно: либо старая дева, либо по рукам...»; «Не обращайтесь на нее внимания, она, как всегда, дурью мается»; «Что ты на себя опять напялила? Бочкам вроде тебя надо носить темные балахоны, чтоб не бросаться в глаза...»

Но даже и со всем этим, слегка закалившись, вполне можно было бы смириться.

Несколько хуже, но тоже терпимой была бесконечная череда маминых разнородных любовников. Мама принадлежала к тому последнему поколению, которое с молоком собственных матерей впитало уверенность, что одинокая женщина с ребенком – самой природой отбракованный шлак, и знаменитый «период дожития» у нее начинается не с выхода на пенсию, а с получения бумаги о разводе, – но у матери и такой не было, она оказалась презренной среди презренных. Не почти порядочная «разведенка», которой мужчина все-таки счел когда-то возможным оказать высокое, впоследствии не оправданное ею доверие, а безответственно

нагулявшая приплод «брошенка», лишь однажды случайно кем-то приголубленная. Обрести и удержать рядом приличного мужчину стало, вероятно, маминой болезненной идеей фикс, да и простая житейская причина имелась: рано родив и почти ребенком шагнув в вынужденную взрослость, мама невольно перепрыгнула необходимую каждому человеку ступеньку. Ту, где можно запросто не спать до утра – и потом счастливо лететь на занятия; где один мимолетный взгляд порой значит больше, чем целая книга судеб; где настоящий электрический ток пробегает из руки в руку при скользящем прикосновении; где можно часы просидеть в кафе над единственной булочкой лицом к лицу и не холодно бродить под ледяным ветром по такому мокрому парку, что даже белки попрыгали и не идут хватать орешки с ладони...

Теперь мама судорожно добирала все это до одной ей известной нормы. Платоническая часть – та, что с белками и кафешками, – проходила где-то за кадром, а вот то, ради чего смирились с прелюдом взрослые тертые, в большинстве своем женатые мужики, происходило после смерти бабушки прямо в их просторной квартире – правда, на другом конце, за кухней, так что хоть уши Стасины были пощажены. Ну друзья и друзья у мамы. К ней самой тоже ведь забегали иногда одноклассницы – и мама ничего, не вмешивалась особо, потому что было ей, в общем, наплевать – лишь бы не курили и клей не нюхали. Стася попробовала то и другое – ей не понравилось. С тех пор если приходили подружки, то только смотреть ужастики под чипсы с кока-колой, а когда не приходили, тоже было хорошо: рисовала в альбоме до ночи что хотела и никто не мешал. В художественную школу мать, правда, ее с третьей просьбы записала, сообразив, вероятно, что так квартира будет пуста гораздо дольше – ведь не каждый работающий мужчина может отпроситься со службы днем, когда дочь в школе; вечером после работы с букетом и шампанским – другое дело. Вот и выпало Стасе счастье. Она не возражала в душе против маминых приключений – лишь бы ее не касалось. Временные любовники и сами не трогали девочку – разве что равнодушно сунут иногда шоколадку с фальшивой улыбкой. А вот когда маме вдруг удалось однажды «наладить личную жизнь», как она с преждевременным оптимизмом заявила, – то есть был заарканен и водворен на их жилплощадь солидный свободный человек с седеющими висками и благородной посадкой гордой головы, еще не разобравшийся в том, на что по простоте душевной подписался... О тех полутора годах своего отрочества Стася и в сорок лет вспоминала с содроганием.

Желая сделать жизнь своего внезапного мужа как можно более приятной и убедившись, что дочка ее вызывает у него отторжение как элемент явно лишней в их идиллии, мать из эпизодически жестокой, но в целом довольно равнодушной женщины, какой была, вероятно, с рождения, превратилась в целенаправленную мучительницу, пристально выискивающую повод и способ причинить дочери как можно большее душевное страдание. Она поставила себе целью доказать своему мужчине, что – да, да, да, она тоже терпеть не может эту никчемную девочку, – но не придушишь же ее, в конце-то концов, вот и приходится смиряться... Самым подлым во всей ситуации оказалось то, что внешне не просматривалось ничего предосудительного – наоборот, при появлении в доме ответственного «главы семьи» с его подачи за воспитание Стаси самым решительным образом взялись, потому что: «Милая моя, неужели ты сама не видишь, какой у тебя запущенный ребенок?»

– Опять горбишься? Осанку держи, я сказал! – с этого начиналась любая семейная трапеза, от которой было теперь немислимим увернуться. – Локти прижми! Смотри, на кого она у тебя похожа! Просто какая-то маленькая горбунья – до того сутулится! Ты вообще занималась своим ребенком когда-нибудь?

Двенадцатилетняя Стася испуганно выпрямлялась изо всех сил, а мама, любовно наглаживая руку сожителя, начинала ласково оправдываться:

– Бесплезно, не трать силы... От нее все как от стенки горох отскакивает... Что делать – гены, их не переспоришь... Молодая была, дурочка... Ну вот и... Я же не знала, что встречу тебя...

Но отчим так и не унялся. Даже спустя годы Стася понять не могла: зачем ему это было нужно? Понятно, что мужчины лишь терпят поневоле чужих детей, если придется, но ведь можно было просто игнорировать противную падчерицу! Но нет, он неукоснительно следил за «правильным воспитанием», буквально преследуя Стасю во всех областях жизни, последовательно переворачивая все с ног на голову, лишая любых радостей, заставляя жить в постоянном унижительном напряжении с утра до вечера. И, скорей всего, не она была настоящей целью издевательств, – работала сложная система порабощения женщины по палаческому принципу: ты должна растоптать ради меня все, что для тебя важно в жизни, а что может быть для матери важнее, чем дитя? Отдай мне это чужое дитя на растерзание, докажи этим, что я для тебя – весь мир, а остальное неважно, – и тогда я, может быть, посчитаю тебя своей... Одной из своих... Мать охотно лебезила и угодничала, подходя к решению задачи креативно, согласно гуманитарным наклонностям своей утонченной натуры.

– Ну как сегодня наша маленькая горбунья? – оживленно спрашивала она, садясь за ужин. – Сколько двоек принесла?

– Да, дневничком-то похвастайся, – с виду благодушно подхватывал ее возлюбленный.

– Бегом, – приказывала мама, и через минуту начинался подробный, благотворный для пищеварения двух садистов «разбор полетов», когда вместо жареной с салом картошки Стася глотала обильные неудержимые слезы, даже если в тот день посчастливилось не схватить по алгебре единицу.

– Бесперспективна. – Дневник, наконец, отбрасывался в сторону, и отчим, передернув плечами и спиной, наливал матери вина.

– Абсолютно, – соглашалась та. – Больше, чем строительное ПТУ, здесь не светит. Будущий маляр-штукатур... Твое здоровье!

Те полтора года запомнились еще двумя замечательными событиями: сначала Стасю махом лишили художественной школы. Действительно, зачем теперь было тратить деньги на то, чтобы освободить от девчонки дом на три вечерних часа: пусть сидит в своей комнате и делает уроки, а у них целая ночь любви впереди, благо на службу утром не надо, они же творческие работники...

«Понимаешь, девочка, – очень удачно изображая строгого, но мудрого родителя, с мнимым дружелюбием говорил Стасе отчим. – При такой успеваемости, как у тебя, хобби – слишком большое излишество. Даже роскошь, я бы сказал. Вот подтянись-ка сначала по всем предметам, чтоб мы видели ощутимые результаты, тогда и подумаем о твоём свободном времени. А пока каждую минуту ты должна отдавать учебе...»

Стася убито кивала. Шансы отсутствовали полностью. Выше тройки получить по математике или физике с химией ей было заказано во веки веков, а по остальным предметам она шла уверенной хорошисткой с периодически проскакивавшими пятерками, – но эти красивые алые свидетельства ее достижений в литературе и истории никого не интересовали. Ей так и говорили теперь дома: за хорошие оценки не хвалят, потому что это твоя обязанность, а за плохие – наказывают, потому что это твоя распущенность. Только никакой распущенностью и не пахло: девочка со всей определенностью знала, что у нее половина головы словно заперта на ключ, и если в одной – правой, праздничной – бурлит напряженная цветная жизнь, то левая, как тайная комната Синей Бороды, таит в себе то, что лучше не видеть, потому что все равно выйдет одно страдание.

Следующим шагом стала отмена Стасино дня рождения. Такого удара под дых она и вообразить не могла, с чего-то решив, что уж это-то святое! Видела бы она, какие святыни во всем мире и во все века подвергаются надругательствам... Никаких особых пиршеств мама ей и прежде, понятное дело, не закатывала, но всегда накрывала чайный стол с тортом, мороженым и лимонадом для детей и взрослых – с вином и закусками – для своих подруг, которым только дай лишний повод для душевных посиделок. Зато с подарками приходили те и другие.

Горячее потом делили на оба стола, но объевшимся сладкого Стасиным одноклассницам к тому времени уже не очень хотелось загорелых куриных ножек с печеным картофелем... Стасю это вполне устраивало, поэтому простодушно вознамерилась она и в эпоху нового правления проделать все то же самое:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.